

Александр Грин

Ксения Турпанова



Александр Грин
Ксения Турпанова

«Public Domain»

1912

Грин А. С.

Ксения Турпанова / А. С. Грин — «Public Domain», 1912

«Жена ссыльного Турпанова, Ксения, оделась в полутемной прихожей, тихонько отворила дверь в кладовую, взяла корзину и, думая, что движется неслышно, направилась к выходу. Из столовой вышел Турпанов. Ксения смущенно засмеялась, делая круглые невинно-виноватые глаза и наспех соображая, как обмануть мужа. Но он уже увидел корзинку...»

Содержание

I	5
II	7
III	8
IV	10
V	14
VI	16

Александр Степанович Грин

Ксения Турпанова

I

Жена ссыльного Турпанова, Ксения, оделась в полутемной прихожей, тихонько отворила дверь в кладовую, взяла корзину и, думая, что двигается неслышно, направилась к выходу. Из столовой вышел Турпанов.

Ксения смущенно засмеялась, делая круглые невинно-виноватые глаза и наспех соображая, как обмануть мужа. Но он уже увидел корзинку.

– Куда ты, Ксеньюшка? – спросил хорошо выспавшийся Турпанов.

– Я – в лавочку... муки надо и соли. – Она открыла дверь, но муж схватил ее за руку и стал целовать в ухо.

– Не надо муки, не надо соли, – проговорил он, – на дворе сыро, слякоть.

– Я резиновые надела, – сказала молодая женщина. – Пусти меня.

– Пошли девушку.

– Но я не могу без свежего воздуха, мне надо гулять, я засиживаюсь.

– Ну, иди, иди, – лениво сказал Турпанов, расчесывая бороду гребешком.

Ксения кивнула головой и сбежала по лестнице. На дворе ей встретился Кузнецов. Это был круглоголовый, серый, семинарского типа человек, лет под тридцать, в рыжем драповом пальто, скучный и нездоровый.

– Дома Влас Иванович? – спросил он, вяло здороваясь, и, получив утвердительный ответ, поднялся наверх.

– Раздевайтесь, – сказал Турпанов. – Жену видели? Что нового?

Кузнецов хмыкнул, потирая озябшие руки, долго смотрел в глаза Турпанову и, словно очнувшись, скинул пальто.

– А? Нового? – сказал он. – Ничего нового нет. Я спрашивал у мужиков, когда река встанет. Никто ничего не знает. Лет тридцать, говорят, такой зимы не было. Теперь ведь шестое. А?

– Да, шестое ноября. – Турпанов расстегнул воротник сорочки, выпятив круглую, белую, волосатую грудь, и стал растирать ее ладонью. – Я хорошо выспался. Надоело сидеть на острове.

Поздняя северная зима сильно угнетала жителей Тошного острова. Река медлила замерзнуть; легкое ледяное сало, а потом более крупный, сломанный оттепелями лед плыл, загромаждая русло грязно-белой коркой; по временам льдины скоплялись у берегов, примерзали, и вода затягивалась стекловидным полувершковым льдом; он держался ночь, а утром таял, дробился и уплывал в море. Маленькие пароходы, бегавшие летом из города к острову и обратно, постепенно перестали ходить совсем. Тошноостровцы вздыхали о санной дороге и маялись.

– Пароходы больше не пойдут, я думаю, – сказал Турпанов. – А хорошо бы в город попасть. Пообедать в ресторане, сходить в кинематограф даже просто пройтись по улицам.

– Глафира Федоровна вчера мужа за обедом ругала, – захохотал Кузнецов, – я даже в тарелку прыснул. «Дурак, идиот, скотина», а он сидит и краснеет. Вчера зашел к Меркулову, он сидит и бьет себя по коленке молоточком – купил специально молоточек. На одной ноге стоял, – забавно смотреть. Сухотку спинного мозга отыскивает.

– Значит, все по-старому, – усмехнулся Турпанов. – А в табурлет сыграем?

Расположившись в одной из трех комнат турпановской квартиры, они сыграли несколько партий. Выиграл Кузнецов. Карты скоро надоели. После унылого молчания, во время которого каждый думал о своем, кура папиросу за папиросой, Кузнецов встал и собрался идти обедать.

Посещение им Турпанова не имело другой цели, кроме потребности потолкаться в чужом доме; это было обычное бестолковое, хмурое хождение ссыльных друг к другу. На острове, в деревне их было семь человек, они жили замкнуто, хотя и виделись часто, говорили о пустяках и втихомолку сплетничали. Ксения не была ссыльной, она приехала к мужу с юга. Жизнь на севере казалась ей тоскливой и мрачной.

II

Короткий ноябрьский день переходил в сумерки Трехверстная ширина реки убегала в редком тумане к смутным контурам городских зданий, церковей и зимующих у набережной морских пароходов, издали, с острова, все это казалось зубчатой тоненькой лентой. Медленно плыл, кружась, грязный, изрытый дождями лед; на льдинах сидели вороны; сиплое карканье их надоедливо будило тишину. У дамбы, среди обмелевших лодок, стояли мужики; большой карбас, спущенный на воду, тыкался кормой в камни. Мужик без шапки, растрепанный, под хмельком, кричал:

– Кладь тащи, Емельян, да доски, доски приволоки, ловчае!

Мужик, стоявший на дамбе, отчаянно махал руками в сторону переулка, откуда, медленно потягивая сани с грузом, осторожно, чтобы не оступиться на гололедице, выступала пегая лошадь. Рядом с лошастью шел высокий, кривоплечий старик без седины, с темным лицом.

– Привороты корму, – закричал он, – таскай, сто пудов взял, шестеро вас поедет, али как?

– Все тут, – сказал мужик без шапки и, широко расставляя ноги, потащил зашитый в рогожу ящик. Это были сельди из коптильни высокого старика Татарьина. Он поставлял их в городские рыбные лавки.

Остальные, скупое и медленно шевелясь, как во сне, снимали с саней груз, закладывая им середину карбаса. Борту сели почти вровень с водой. Гора ящиков, прикрытая рогожей, разделяла корму от носа. Молодой парень в желтой клеенчатой винцероде¹ принес две длинные тесовины, – переходить, если понадобится, лед у городского берега.

– Степан Кирилыч, увезите и меня, пожалуйста, – сказала, проходя, Ксения.

Татарьин обернулся. Он был хозяин дома, в котором жили Турпановы.

– Садись, барыня, увезу, – деловито сказал он, шлепая сапогами по луже.

Мужики, бросив работу, тупо смотрели на барыню; один, неизвестно почему, ухмыльнулся, почесав за ухом. Ксения спустилась к воде. Мутно-желтая пена двигалась вдоль карбаса, шурша льдом. Маленькая, темно-русская женщина слегка боялась этой суровой воды, утлого карбаса, загадочных мужиков, льдин, серого неба, но в то же время боязнь приводила ее в легкое восхищение. Ей казалось, что плыть на карбасе совсем не обыкновенное дело, которым сотни лет, изо дня в день, занимается население, а такое же загадочное и новое, как, например, дрессировка змей. Самое себя она чувствовала теперь тоже не балованной городской женщиной, а новой, расположенной к мужикам и мужицкому Ксенией, которую мужики не могут только видеть, а если б увидели, то загалдели бы в ее присутствии, не стесняясь.

В то время, когда она, смотря на карбас и реку, думала, что все готово и можно ехать, мужики действительно загалдели все сразу, и нельзя было понять, в чем дело, тон голосов их заставил бы непривычного человека подумать, что случилось что-то такое важное, что ехать совсем нельзя. Покричав, все, однако, успокоились и начали размещаться. Четверо сели на носу, в весла, один – на корме; Татарьин подошел к Ксении, говоря:

– Садитесь, барыня, на скамеечку.

Ксения ступила одной ногой на борт, ожидая, что от этого карбас сразу наклонится и черпнет воды, но судно почти не шелохнулось. Татарьин бросил на сиденье кусок брезента; в карбасе было тесно и сыро.

– Садитесь вот, посушее. Поехали. С богом!

¹ Винцерода – плащ из непромокаемой ткани.

III

Татарьин держал руль. Короткий плеск четырех весел мерно удалял карбас от берега. Черные кучи домов отходили в сторону и назад. Ксения сидела лицом к корме, плотно обтянув юбкой ноги; ей было слегка холодно и чуть-чуть страшно. За ее спиной и за грудой ящиков невидимые гребцы о чем-то говорили вполголоса; разговор их был отрывист и глух. «О чем бы таком интересном подумать?» – мысленно произнесла Ксения. Но мысли были только о том, что непосредственно относилось к настоящему положению. Она думала, что муж будет в большом недоумении, узнав об ее поездке, пожалуй, беспокоится, а потом, когда завтра она вернется, – обрадуется и удивится. Она любила его сильной, думающей любовью. «Такой большой и славный, очень милый», – мелькнуло в голове Ксении.

Дул ровный, холодный ветер; мужики умолкли, а Татарьин, изгибаясь во все стороны, рассматривал проходящий лед, и Ксении казалось, что мужики не разговаривают потому, что ее присутствие их стесняет. От этой мысли ей стало неловко, она спросила более громко, чем было нужно:

– А сегодня назад поедете?

– Там видно будет, – сказал Татарьин и, помолчав, прибавил: – Из Заостровья попадать плохо теперь...

– Из Заостровья?

– Плохо попадать, – продолжал мужик, очевидно, следуя своим мыслям. – Попажа плохая. Сала там понаперло, вот что. А с Кикосихи ездют, вчера мясо везли хорошо, слободно.

Водяное пространство, казавшееся раньше загроможденным льдом, теперь, когда карбас плыл по середине реки, немного очистилось. Только у городского берега стояла ровная, белая полоса. Сырой ветер знобил, студил ноги; Ксения, не выдержав, встала, переминаясь и подергивая плечами.

– Озябли, хе-хе! – сказал гребец с мочальной бородкой. – Город уже недалеко, чаю попьете.

Татарьин, меж тем, разговорившись, тянул низким негромким голосом рассказ о том, как шесть лет назад плыл из Соломбалы с пикшумом, а отец лежал пьяный и захлебывался водой, хлеставшей через борт.

– Нахлебался, протрезвел маленько, – сказал копильщик, – и в ухо мне как звизданет: «Ты, говорит, Хам, а я Ной, отец я твой, ты это чувствуешь» – однако, свалился опять, вот какие дела.

Ксения слушала, смотря на серую, длинную воду, уходившую к далеким берегам Заостровья и Тошного хмурым простором. Большие льдины, покрытые снегом и грязью, текли к морю; некоторые из них, шипя, ползли у самого карбаса. Сумеречный узор города показался вблизи, дома и пароходы как будто вырастали, подымаясь из воды. Ехали уже около часа, у Ксении окоченели руки; сзябшаяся, боясь пошевелиться, чтобы не озябнуть еще больше, она тоскливо посматривала на берег, мечтая выскочить из неуклюжего карбаса, пробежаться по улице, согреться, зайдя в магазин.

Карбас плыл теперь в рыхлом береговом льду, на носу стоял мужик, раскачивая суденышко; карбас, переваливаясь с боку на бок, давил своей тяжестью лед; льдины, хрустящие, перемешанные как хлеб, крошенный в молоко, спирали борта, гребцы отталкивали их баграми, крича: «Ну еще, Василий, обопрись ловчае, оттяни назад, не мешкай, дьявол, в русло попадай, норови, норови еще!» Карбас медленно и шатко скользил к пристани; наконец обмерзшие мокрые ступени каменного трапа поплыли у ног Ксении. Татарьин дернул багром, и карбас остановился.

– Вылезайте! – сказал он, помогая окоченевшей женщине. Она поднялась на пристань и улыбнулась от удовольствия.

– А назад скоро? – Ксения порывалась бежать, мужики, уложив багры, таскали селедку.

– Не мешкайте уж, барыня, – сказал коптильщик, – дотемна ехать надо.

Ксения, порывшись в кошельке, сунула ему тридцать копеек. Мужик охотно и быстро спрятал в карман, говоря: «Ну что, стоит ли, благодарим вас». Уходя с пристани, молодая женщина долго еще слышала шорох льдин, быстрый плеск весел и ровный гул ветра.

Возвратившись через час, нагруженная покупками, резавшими ей пальцы петельками тонких бечевок, усталая и запыхавшаяся, она не увидела ни мужиков, ни карбаса. Два других, причаленные в том же месте, были пусты, покачивались, и на дне их, жулькая и почмокивая, переливалась накопившаяся вода. Было почти темно, глухо и ветрено.

IV

Турпанов, после ухода Кузнецова, вспомнил, что жены долго нет, оделся, прошел к лавочке, увидел за стойкой мужика, рассматривающего картинки старых журналов, и спросил:

– Жены моей не было у вас?

– Нету, – сказал мужик, – не приходили.

«Что за черт, – подумал Турпанов, – не ушла ли она к Антоновым?» Но, тут же вспомнив, что жена Антонова давно в ссоре с ним из-за спора о «самоценности жизни», оставил эту мысль и прошел на берег. Из казенки шел парень с двумя четвертями под мышкой, трезвый, деловито поглядывая на бутылки.

– Голубчик, – спросил Турпанов, – не видал ли ты барыню в белой шапке? Это моя жена, – прибавил он, думая, что так парню будет понятнее, зачем он об этом спрашивает.

– В белой? – переспросил парень. – Это Турпаниха, стало быть... видел никак супругу вашу, – поправился он, – на татарыном карбасе давеча проехали в город, верно они, глаз у меной такой... приметливый.

Турпанов пожал плечами, покачал головой и, обеспокоенный, подошел к воде. В темнеющей дали, шурша, двигался невидимый лед, свистел ветер.

«Ну, Ксения, – подумал Турпанов, – зачем это?» Неужели правда? Ни вчера, ни сегодня между ними не было разговора о необходимости ехать. С почты, кроме газет, нечего было ожидать, знакомых в городе не было. «Ксения, что же это? – твердил Турпанов. – А вдруг утонет... нет, пустяки... а вот простудится, сляжет хрупкая»... И почему-то обманула его.

Ничего не понимая и начиная от этого слегка раздражаться, Турпанов медленно двинулся по дороге среди голых зимних кустов к мысу. Черные вечерние избы глухо проступали слева, среди замерзших полей; огонек спасательной станции горел высоко на мачте меж тусклых звезд. Мысли о Ксении, доехала ли она и когда вернется, преследовали Турпанова.

Он вдруг ясно и живо представил ее, бесшумную, иногда грустную молчаливо, подчас веселую тем внутренним, смеющимся, тихим и невинным весельем, которое непременно в конце концов передавалось ему, как бы он ни хандрил. – «Ах ты, славная Ксеничка», – сказал Турпанов, с удовольствием чувствуя, что любит жену, и вспомнил, что ему часто приходила в голову мысль: любит ли он ее.

«Вот странно, даже дико, – подумал он, – как же не люблю?» И опять стало страшно, что она утонет. Сам он чрезвычайно боялся воды, и ко всему, отмеченному риском, к рекам, лесу, охоте и оружию, относился с брезгливым недоумением интеллигента, – полумужчины, неловкого, головного человека.

– Сегодня приедет, как же иначе, – вслух сказал Турпанов. – Жена сбежала! – шутливо усмехнулся он. И вспомнил, что у Меркулова действительно убежала жена, не вынеся бедности в ссылке с мужем-истериком. Турпанов старался представить, могла ли бы сделать то же самое его Ксения. Вопрос этот интересовал его, но не беспокоил, отношения их были равные и заботливые. «Мы все-таки с ней разные, – мои идеалы, например, чужды ей». Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый, лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными, а остальные ссыльные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, невытанцованной картине.

«Да, Ксения... человек внутренне свободный, – размышлял, прогуливаясь, Турпанов, – а все-таки...» Что «все-таки», – он хорошенько не знал. На языке сбивчивых туманных мыслей его – это выражало животное чувство превосходства мужчины. Она спорила редко, а если спорила, то утверждала всегда что-нибудь шедшее вразрез со всеми его установившимися поня-

тиями, и было видно, что высказанное принадлежит ей. «Пожалуй, я не знаю ее, – подумал Турпанов, – и не надо знать, так лучше, может быть, она просто недалекая, но добрая».

Он перешел дорогу, думая повернуть назад, как вдруг заметил двигающийся, неясный силуэт человека, идущего навстречу. Очертания фигуры показались ему знакомыми. Через минуту он поклонился и обрадовался. Это шла Марина Савельевна Красильникова, ссыльная, вдова убитого на войне офицера; на Тошном ее звали попросту Мара. Турпанов разглядел ее улыбку, выразившую веселье и зябкость. Полная, белокурая и высокая, она в темноте казалась стройнее и меньше.

– А, здравствуйте, – более бодрым, чем всегда, голосом сказал Турпанов.

– Вы гуляете?

– Да вышла пройтись. А вы?

– Тоже. Я провожу вас, – сказал Турпанов. – Знаете, жена в город уехала. И не предупредила. Я вот хожу и ломаю голову: зачем?

– Ну, по хозяйству что-нибудь, а вы беспокоитесь?

– Нет, зачем же... – Турпанов перебил себя: – Ну что, как дни вашей жизни?

– А вот скоро срок мой оканчивается, – радостно и серьезно заговорила Мара. – Вы, бедняжки, будете здесь сидеть, а я уеду. Уеду, – повторила она, как бы стараясь полнее представить прелесть освобождения. – В Москве остановлюсь на месяц; там ведь у меня, знаете, знакомства... Два года жизни убито. Теперь догоняй! И догоню.

– Вы можете, – медленно произнес Турпанов, сбоку оглядывая женщину. Она шла рядом с ним, на одном и том же небольшом расстоянии. Про нее ходили смешные и раздражающие сплетни, а сослали ее за дело о каком-то партийном спектакле. Турпанов сказал:

– Рисковать будете?

Мара сдержанно засмеялась.

– О, нет! Довольно с меня. По горло сыта!

– Вы откровенны.

– И вы будьте таким. – Она посмотрела на него внимательно, строго. – Актеры вы все, и плохие, плохенькие. Ну, чего там? Какая еще революция? Живы – и слава богу.

– Позвольте же, Мара, – начал было Турпанов, но вдруг убедительно и просто почувствовал, что спорить, а тем более горячиться не о чем. – «Все это странно, однако, – подумал он, – неужели я... – но об этом не хотелось даже думать. – Доступна, или недоступна? – глухо подумал он. – Ну и свинья я, а Ксения?»

– Ваша жена сегодня приедет?

– Не знаю, – сказал Турпанов, – а вот что интересно!.. Да, она не приедет, конечно, уже темно и ветер. В гостинице переночует, я думаю... Так интересно, я говорю, вот что: в молодости мы треплемся черт знает как, и теперь...

– Ну, и что же? – усмехнулась Мара.

– Да все равно. – Ему хотелось изменить разговор в легкую и двусмысленную игру словами, но он не мог уловить подходящего момента. В том, что жена уехала, а он идет с нравящейся ему женщиной и не знает ее отношения к себе, было что-то жестокое и приятное.

– Слушайте, – сказал вдруг Турпанов, втягиваясь в это немного хмельное, немного лукавое настроение, – а пойдемте ко мне. Вы ведь у меня никогда не были, – повторил он, вспомнив, что Мара лишь две недели переведена на остров из уездного города, – а у меня хорошо, городская квартира. Ну, как? Есть конфеты.

– Если есть конфеты, – помолчав, сказала Мара, – завернем. Только я ненадолго. А что у вас хорошая квартира, то этим меня, знаете ли, не удивишь.

– Да разве я хотел вас удивить?

– Ну, не хотели, а подумали.

– Глупости, – сказал Турпанов, сердясь на то, что действительно это подумал. – Налево в переулочек.

У крайней избы села, видя, что Мара нерешительно ступает по льду лужиц, он хотел взять ее под руку, но почему-то не сделал этого. Они подошли к дому, где жил Турпанов. Крутая, темная лестница вела наверх; женщина оступилась, Турпанов поддержал ее неловко за локоть, теплый и упругий, и заметил это; и от этого стало душно. Чиркнув спичкой, Турпанов отворил дверь, стоя возле Мары и тупо следя за движениями ее рук, сбрасывающих пальто; огонь подошел к пальцам, обжег их; Турпанов взял другую спичку, а женщина засмеялась.

– Что же вы, зажгите лампу, – сказала Мара, – или в темноте будем сидеть?

– Виноват! – Он бросился в столовую и, сняв зеленый колпак лампы, осветил комнату. Мара села к столу, оглядываясь, держась как бы принужденно, Турпанов стоял. Он вдруг забыл, что нужно что-нибудь говорить, занимать гостью, или вызвать ее самое на разговор; грудь, шея и руки женщины, ее полное, овальное, затаенно-дерзкое лицо путали все мысли Турпанова; трусливое волнение наполняло его; он сделал усилие, остыл и, подойдя к буфету, вынул коробку.

– Пожалуйста, прошу вас, – сказал Турпанов, стараясь быть просто корректным, но, против воли, сердце стучало быстрыми, замирающими толчками.

– Эта комната вашей жены? – громко, шелестя конфетной бумажкой, спросила Мара.

– Да, вот посмотрите. – Турпанов взял лампу и пошел в соседнюю комнату, но гостя не встала, а только кивнула головой, и он вернулся. – Там она устроилась...

– Да, мило у вас, – сказала Мара и принялась есть конфеты.

«Однако, нужно же говорить что-нибудь», – думал Турпанов.

– Знаете, я недавно читал Бельше², «Любовь в природе»...

Она молчала, ела, откинув голову к стене; сомкнутые губы двигались сосущими движениями, и было видно, что молчание несколько не стесняет ее. Турпанов, стараясь не смотреть на Мару, сбивчиво и путано говорил о Бельше, и чем больше говорил, барабая по столу пальцами, тем яснее становилось ему, что Мару Бельше вовсе не интересуется. Она смотрела на него пристально, блестящими глазами и молчала. Сердце Турпанова успокоилось, но осталось ровное, тяжелое раздражение. Посидев немного, он встал, принялся ходить по комнате, говоря о Бельше, синдикалистах, перемене министра, мужиках и, взглядывая на Мару, видел одно и то же, в одном и том же положении, здоровое, молчаливое лицо со странными, неотступно глядящими на него глазами. «Чего она, – подумал Турпанов, – я человек женатый, однако, и все это дурь... Самка...»

Поговорив, он замолчал, не слыша ни «да», ни «нет». Прошла минута; Мара развернула еще конфету, а Турпанов, посмотрев на нее, улыбнулся, остановился взглядом на подбородке, и вдруг желание стало мучительным, почти нестерпимым.

– Как вы смотрите, – сказал Турпанов, – вот вы какая...

– Какая? – Она тихонько зевнула. – Ведь и вы тоже смотрите.

«А что если», – мелькнуло в голове, но Турпанов смутился и встал. И, встав, увидел, что глаза Мары взглянули на него еще прямее и проще. Он подошел к ней с перехваченным спазмой горлом и, не думая ни о чем, ужасаясь тому, что хотел сделать, и в то же время бесильный воспротивиться жгучим толчкам крови, положил руки на плечи Мары. Она смотрела прямо ему в глаза, не отодвинулась и не пошевелилась, а Турпанов, продолжая ужасаться и радоваться, нагнувшись, поцеловал ее в бровь неловким и не давшим ему никакого удовольствия поцелуем. Он весь дрожал, губы его кривились; чувствуя, что теперь все можно, с душой замкнутой, даже слегка враждебной цветущему телу Мары, путаясь, расстегнул пуговицы на пышной груди, и захмелел.

² Бельше, Вильгельм (1861–1939) – немецкий биолог, популяризатор науки.

«А Ксеничка, как же я... но я ее люблю, это во мне зверь», – бормотал мозг Турпанова; и вдруг без слов, качнувшись стремительно с закрытыми глазами, Мара левой рукой охватила его шею, притянула голову Турпанова к горячему бюсту; она стала вся неловкой, покрасневшей и жадной. – «Конфеты, Больше... теперь надо крепко целовать», – подумал Турпанов и, весь затрепетав, вырвался, готовый закричать от страха... Быстрые шаги сзади замерли отчаянной тишиной. Он обернулся, ослабел и, задыхаясь от растерянности, увидел жену.

V

Ксения долго стояла на пристани, прислушиваясь к гулу ветра, оглядываясь и соображая, поедет ли теперь кто-нибудь на остров, или же ей действительно придется ночевать в городе.

Озадаченная, она не могла даже долго возмущаться Татарьиным, уехавшим, не дождав-шись ее. Надоевший деревенский остров теперь, когда на него почти невозможно было попасть, казался таким близким и родственным ей, что у Ксении тоскливо, от нетерпения, сжалось сердце. Темная река шумела у ее ног; Ксения представила себе мужа, выбегающего на берег прислушаться, не плещут ли вдали весла, и почувствовала себя виноватой, почти преступни-цей. Это происходило оттого, что именно так тоскливо чувствовала бы она себя на его месте.

Поспешные шаги нескольких человек и стук телеги заставили ее обернуться; пятеро кре-стьян, три мужика и две бабы шли сзади ломовика, таща корзины с пустыми кадушками из-под молока, проданного днем. Лошадь остановилась у воды, огромный человек в кацавейке прыгнул в затрещавший карбас и принялся вычерпывать скопившуюся в нем воду. Тусклый фонарь пристани освещал погруженные на телегу мешки, остановившихся неподвижно баб и Ксению, подошедшую к ним. Колосс, черпавший воду, вылез на край мола, вытирая руки о штаны. Ксения сказала:

– Вы, кажется, едете на остров?

– Из Тошного, кладь вот наберем и пошли.

– Возьмите меня.

– С-с удовольствием! – Мужик зашмыгал носом, отвернулся, скрутил папироску, закурил ее, и блеснувший огонь спички осветил его круглое, темное лицо с маленькими глазами.

– Терентий, – закричал он суетливым, самодовольным голосом, – вот барыня просится, взять што ль?

Сутулый старик, встряхиваясь под съезжавшим со спины мешком и семена к каменным ступеням, под которыми ожидал карбас, крикнул:

– Пущай, много ли весу в ей!

– Мы завсегда, – сказал круглолицый, поворачиваясь к Ксении и выставляя ногу каким-то особенно картинным вывертом: – значит, сочувствуем. Как я был серый мужик, – продолжал он, – а служил я в конной гвардии, в Петербурге, и что такое политиканы не знал, ну, то есть... понимаете... да.

Он подвинулся ближе идохнул в лицо Ксении сивухой. Она молчала. Мужик затаился папиросой и, не успевая договорить, потому что другой крикнул ему:

– Таскай мешки, че-ерт! – пятясь задом, пробормотал:

– Как вы произошли курс вашей гимнастики и науки, а мы водяную часть, потому не боимся! Мне хоть сейчас скажи кто: «Иван, беги по льду» – и готово; это нам нипочем.

Он исчез в карбасе, укладывая мешки, и, видимо, форся, так как каждое движение других вызывало с его стороны взрыв авторитетных восклицаний.

Телега, постукивая, отъехала; бабы, волоча корзины и охая, уселись в корме. Третий мужик, вялый и благообразный, все время вытирая рукой рот, словно съел гадость, топтался на лестнице и, наконец, сел к мачте на корточках. Ксения поместилась против баб. Старик сел к рулю; круглолицый, толкая всех и немилосердно качая судно, поставил парус. Карбас сидел глубоко в воде; зыбь, полная льдин, терлась у самых бортов.

– Поехали! – сказал старик. – Темь, ну да и это бывало. С богом!

Он сдернул шапку, перекрестился, и этот механический жест без слов дал понять Ксении, что ехать теперь опасно и неудобно, но желание скорей попасть домой вытесняло страх. Она только бессознательно и доверчиво улыбнулась; улыбка эта выражала бессловесную просьбу

к ночной реке – не очень пугать. Карбас отъехал, раздвигая льдины медленным, неуклонным движением.

– Ой, страшно, – равнодушно сказала баба и замолчала. Другая грызла орехи, встряхивая головой и шумно отплеываясь. Холодный, сильный ветер рвал воду; карбас приподняло, положило на бок, ударило о борт льдиной, отчего он весь затрясся и заскрипел, подбросило снова, взмыло еще выше и мягко швырнуло вниз.

– Вовремя поехали! – закричал старик, вертя руль. – Леший, прости господи, Иван мешкает который раз, наказание с парнем.

– А что я тебе? – сказал круглолицый. – У меня часов нет, я не барин, не господин; ходил, верно, не доле тебя.

Ветер дул в бок, левый борт черпал воду, по временам бешеные скачки ветра срывали гребни, обдавая лица плывущих ледяной сыростью. Впереди на далеком берегу острова светился огонь спасательной станции, и старик упорно держал на него, хотя невидимые толчки залитых водой льдин повторялись все чаще и неожиданнее. Мужик, сидевший ранее на корточках, а теперь ставший на колени, держась за мешок, заговорил заискивающим, искусственно-веселым голосом:

– Развело, значит, да не попусту; попусту-то зворыхает куда сильнее, лед, значит, ест волну эту самую, уютжит, а то беда.

– Лет пятьдесят езжу, знаю, – быстро заговорил старик, видимо, говоря для барыни, так как все мужики знали, что каждый из них может рассказать о реке, – а в туман, либо морок путался часов по десять, отец еще учивал; смотри, – говорит, – по уху: как ветер дует; дует он тебе правильно, по одному месту, так и держись и-и, держи, говорит... головы не ворочай, слушай ветра, заместо компаса он... А то по волоску.

– По волоску лучше не надо, – с жаром подхватил стоявший на коленях мужик, – вот дым, ежели папироску закурить – унесет, а волосок никуда не денешь, он на башке; отпусти его, он и показывает.

Оба замолчали; карбас, стиснутый волной и льдиной, круто положило на бок, отнесло в сторону, и парус, выйдя из ветра, тревожно заполоскал, почти касаясь воды. Ксения встала; мешок муки упал к ее ногам, придавив завизжавших баб.

«Мы утонем», – подумала Ксения, но это был не страх, а жуткое, тяжелое возмущение. Со всей силой молодой жизни почувствовала она грозный, потопивший ее мрак, темную даль реки, беспомощность, отсутствие любимого человека, и ей захотелось жить не иной, а именно такой жизнью, какой жила она до сих пор и лучше которой, как показалось теперь, быть не может.

Старик, бросаясь, как угорелый, выдернул мачту, другой отпихивал багром льдину. Карбас кренило, он зачерпнул воды и остановился. И вдруг среди общего смятения раздался глухой, булькающий шум, льдина ушла под киль, карбас пошевелился, выпрямился и стал качаться.

– Весла бери, – крикнул старик, – весла, снесет вас, неуповоротные, гребите што ль!

Несколько мгновений продолжалась возня, скрип уключин, беспомощные толчки, кряхтенье и брань – и все кончилось! Ветер дул с прежней силой, но волнение почти прошло, судно зашло за мыс.

– Ой, страшно, – снова сказала баба, охая и плюхаясь на мешок. – Что и делается, поехала я с вами!

– Пронесло, и слава богу, – сказал старик, и Ксения второй раз почувствовала, что была настоящая, серьезная и большая опасность.

VI

У дома Ксения остановилась и, запыхавшись, перевела дух, так как шла очень скоро, почти бежала, замирая от нетерпения и волнения. Душа ее, полная нежного оживления, влюбленности и хитровой радости, торопилась высказаться; уже на ходу она улыбалась, представляя, как встретит ее муж, и какой нескончаемый, с восклицаниями, притворно-сердитыми упреками и вопросами начнется меж ними разговор, пока он снимет ее калоши, а она шапку. Как всегда, когда ей особенно хотелось быть с мужем, Ксения старалась думать об этом вскользь, и ей было чуть-чуть стыдно от сознания, что она теперь женщина и что меж ней и одним из бесчисленных мужчин нет ничего тайного. Поднимаясь по лестнице, она сунула руку в карман, где лежало нечто, купленное ею в городе; это был подарок мужу, часы с монограммой, которым завтра, в день своего рождения, он должен удивиться и обрадоваться. Пока же она решила сказать, что в город ехать совсем не думала, и это вышло случайно: вспомнила, что нужно кое-что по хозяйству.

Открыв дверь, Ксения увидела блеснувший свет лампы, заслоненной спиной мужа, быстро подошла и остановилась, еще продолжая машинально улыбаться. Турпанов с широко открытыми, помутившимися глазами подскочил к ней, отступил, оглянулся на Мару и побледнел. Мара инстинктивно закрыла грудь, хихикнув нервным смешком; глаза ее сузились, вспухли и заслезились; сделавшись вдруг некрасивой, вороватой и жалкой, пунцовая, она, быстро дыша, застегивала грудь.

Ксения подняла руку, машинально проводя ею по глазам, перевела взгляд с мужа на женщину, отошла в угол, продолжая неудержимо улыбаться, побелела и крепко зажмурилась. Тоскливое, холодное изнеможение овладело ею, два-три тупых слова – бессмысленных и случайных – заменили на мгновение ясность мысли, ноги ослабели, она прислонилась к столу и оцепенела, болезненно усталая, готовая закричать от боли. Мара, резко вскочив, бросилась в переднюю; Турпанов, мигая, захлебываясь от напряжения и потерянности, сказал:

– Ты не подумала ли... Марине Васильевне было, знаешь, нехорошо, легкое головокружение... – Он замолчал и жалким, громким голосом прибавил: – Ну, как мы съездили, маленькие путешественники?

– Куда? – сказала Ксения через силу, со страхом, что он будет теперь лгать, просить прощенья, извиваться. Ей было невыразимо стыдно от мысли, что муж может узнать об ее поездке. Часы, лежавшие в кармане, были ей отвратительны, смешны, глупы и тривиальны. Они могли быть нужными и важными, почти живыми, – раньше, но все это было оплевано. – Я была здесь, в гостях, но засиделась.

– Ксюша, – застонал Турпанов, ломая себе пальцы и делая мучительное лицо, – это был психоз, ей-богу, поверь мне, не надо катастроф, это был не я, я же люблю тебя!

Но говоря это, он чувствовал, что обращается к чужой, случайно зашедшей сюда женщине, пристальные, отталкивающие его глаза жены были теми новыми глазами человека, которыми он смотрит раз в жизни и, осмыслив ее по-новому, умирает верно, просто и стремительно для всех, кроме себя. Ксения молчала; передумать и осознать все, случившееся так резко, было ей не под силу. Мужчина, стоявший перед ней, сильно напоминал ей Власа, но был чужой.

– Ну, прощай, Влас, – тихо сказала Ксения, и ей стало жаль себя за то, что она не может какими-нибудь другими, такими же простыми, но огненными словами передать ему всю силу боли и ужаса. Она тронулась к выходу, обернулась и прибавила: – За что?

– Ксения! – закричал Турпанов. – Куда же, что за шутка, я не допущу! – Он бросился к ней, хватая ее за руку; она молча и сосредоточенно вырывалась; Турпанов уступил, думая, что этим смягчит ее. Она вышла без слез, еще не зная, что сделает: поедет ли в другую деревню,

где можно переночевать, или наймет карбас к вокзалу, поедет по чистому и тихому рукаву, в темноте, с горем в душе и звездами над головой.

Турпанов, сбегая по лестнице вслед за Ксенией, бессвязно просил и плакал. На крыльце он остановился, совершенно упавший духом; маленький, стройный силуэт женщины быстро уходил в тьму. Скрипел снег; за овином пел пьяный, отчетливо выговаривая:

Было дело под горой, —
На каку нарвался!
Раз-другой поцеловал,
Три часа плевался!